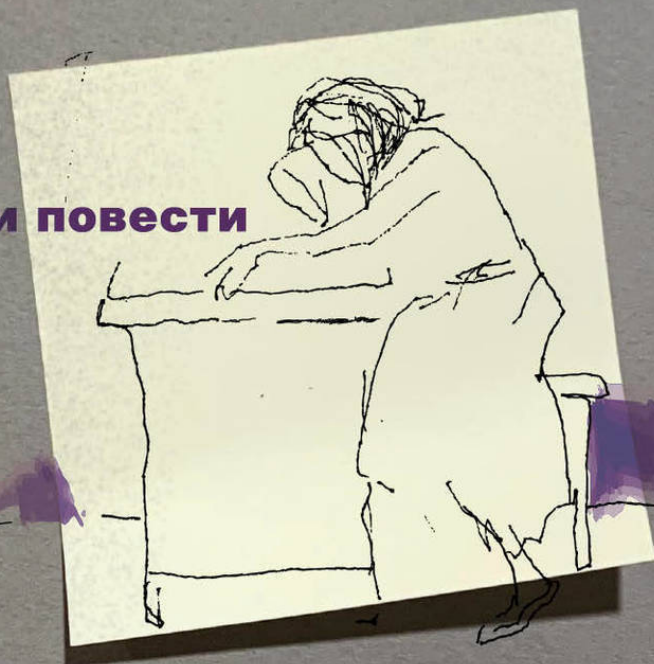


ДИНА РУБИНА

1970-1980 ГОДЫ

рассказы и повести



Отлично
поет
товарищ
прозаик!

Малая проза (Эксмо)

Дина Рубина

**Отлично поет товарищ
прозаик! (сборник)**

«Эксмо»

2016

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Рубина Д. И.

Отлично поет товарищ прозаик! (сборник) / Д. И. Рубина —
«Эксмо», 2016 — (Малая проза (Эксмо))

ISBN 978-5-699-91240-7

Книга «Отлично поет товарищ прозаик!» состоит из рассказов и повестей Дины Рубиной 70—80-х годов, так называемой ранней прозы. Первые вещи, написанные в 16 лет и опубликованные журналом «Юность», принесли ташкентской школьнице всесоюзную известность. Проза, созданная в выпускных классах музыкальной школы и во время учебы в консерватории, открывает нам душу – ранимую, человека – способного к состраданию, талант – ярчайший, словно пропитанный солнцем, светом и гомоном южной столицы.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-91240-7

© Рубина Д. И., 2016
© Эксмо, 2016

Содержание

Великая сила печатного слова	6
Рассказы	8
По субботам	8
Этот чудной Алтухов	15
Дом за зеленой калиткой	24
Терновник	30
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Дина Рубина

Отлично поет товарищ прозаик!

© Рубина Д., 2016

© Николаева Ю., иллюстрация на переплете, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э»», 2016

Великая сила печатного слова

Любой мало-мальски чувствующий человек подтвердит вам, что нет ничего печальнее счастливого детства. Разве что отрочество, когда душа уже требует к священной жертве, а ее никто не принимает в расчет: ни родители, ни учителя. И тогда пленный дух начинает, как говорила моя бабушка, «выкидывать фортеля», ибо пленный этот дух знает настоящую цену истинным вещам – дружбе, любви, самоотверженности. Цена эта высока...

Не так давно мне пришлось побывать в Кембридже. Меня поселили в гостинице знаменитого Королевского колледжа, построенного в XIII веке, попутно обронив, что женщины в этот блестящий колледж стали принимать только в 1972 году.

– Как?! – вскричала я. – И это не в Пакистане, не в Иране, не в Индии... Это в просвещенной Англии?!

На что мне ответили с невозмутимой улыбкой:

– Но у нас и порку учеников в школе отменили совсем недавно.

Нас в советской школе не пороли. Пороли нас родители. Впрочем, тоже – не все. Меня выпороли только однажды, и даже не ремнем, а кухонным полотенцем, скрученным для веса жгутом (так что я сомневаюсь – можно ли эту облегченную экзекуцию назвать настоящей поркой), когда выяснилось, что я в течение полугода поддельвала в своем унылом дневнике мамину подпись. Кстати, я и сейчас неплохо поддельваю подписи, но ума не приложу, на что мне сегодня может сгодиться этот талант.

Что касается другого таланта – моего чудовищного, всепоглощающего стремления постоянно заполнять буквами и словами чистые тетрадки, предназначенные для математики и других благородных наук, – то родители считали это суицидом, и мама, заслуженный учитель республики, преподаватель истории, в сердцах выкидывала испорченные тетрадки в мусорное ведро. Продолжалось это до того момента, когда однажды я послала наугад в популярный московский журнал то, что под руку подвернулось, – один из моих коротких рассказов. И его опубликовали.

Судьба обернула ко мне другую, изумленную сторону своего лика. Не потому, что меня зауважали сверстники и перестали отчитывать родители, а потому, что тайное писательство вдруг превратилось в явное – мне даже купили маленький столик, в то время совершенно не нужный: я ведь и рассказы писала, и уроки готовила лежа на животе, на своем кургузом топчане в углу «детской».

Стоит ли говорить, что персонажами моих подростковых творений становились все, кто попадал в обзор: учителя, одноклассники, дворовые друзья, а также соседи под своими именами, мамы сослуживцы, знакомые собаки и кошки... и прочая живность на окрестных улицах.

Развивающееся дарование ведет себя точно так же, как растущий организм, – жрет все подряд, не знает, куда деть неумную энергию, и сеет вокруг хаос и возмущение близких...

Но что делать, если эту белиберду печатает московский журнал, выходящий тиражом под три миллиона?! Журнал «Юность» рассылался по библио-текам тюрем и колоний для несовершеннолетних, на корабли военно-морского флота, в красные уголки сухопутных войск. Стоит ли удивляться, что вскоре я стала получать письма с обещаниями «жениться через полгода, как только срок выйдет»... Несколько раз меня у школы ждали пугающие личности с бритыми наголо черепами, с букетиком увядших ромашек в руках.

Знакомые говорили маме: «Не могли бы вы проверять то, что ваша дочь посылает в журнал?.. Нельзя ли в следующий раз... э-э-э... вычеркнуть то, что она напишет о Владимире Львовиче, все же – завуч?..»

Но к тому времени я уже превратилась в неприкасаемую фигуру: под обложкой московского популярного журнала сияла моя заборная шестнадцатилетняя физиономия и чеканно выстроились буквы моего – не простого, а уже литературного – имени.

Вот когда меня стоило бы выпороть. Но было поздно. Великая сила печатного слова, сопровождаемого юной фотографией автора, вершила свою работу...

Я никогда не включаю в сборники рассказов те первые свои опусы, опубликованные в журнале «Юность». Даже не потому, что они не представляют литературной ценности. Просто этот торжествующий щенячий визг надо оставить там, на страницах моей подростковой самоуверенности и упоенности победой.

И только когда пришла ко мне первая неудача – несчастная, как и положено ей, юношеская любовь; когда в моих текстах появилась насмешка по отношению к себе и необходимая дистанция между авторским «я» и окружающим миром, – только тогда мои ранние рассказы и повести заслужили, на мой взгляд, читательское внимание...

Дина Рубина

Рассказы

По субботам

Под утро к ней приходили два сна. Один длинный, обыденный и скучный, у него много лиц, и все они кого-то напоминают. Этот сон наполнен раздраженными голосами и бесцельными действиями. Он ничем не отличается от будней, поэтому тяжел, скучен и сер...

Она просыпается и смотрит в окно. В доме напротив горят три квадратика – значит, уже часов шесть. Она долго лежит с открытыми глазами и думает. Потом небо светлеет, и плечам становится прохладно. И вот тогда возникает сон Второй.

Сначала он прыгает на форточку и долго сидит там, потом мягко и бесшумно спускается на подоконник. Она знает, что сон здесь, но на него нельзя смотреть – улетит. Наконец он усаживается где-то у ее плеча и начинает легонько дуть ей на мочку уха. Это ужасно приятно... Все предметы вокруг становятся зыбкими и погружаются в мягкий сиреневый свет, который постепенно вкрадывается в ночную комнату. Теплая и прозрачная дремота наплывает на нее, обнимает, качает на своих коленях, и она боится пошевелить головой, чтобы не отдавить лапку Второму сну...

Он здесь. Он легкими прикосновениями гладит ее лоб, щеки, плечи, рассыпает на темном небе закрытых глаз разноцветные калейдоскопические звезды и легко смешивает реальное с нереальным, как мягкие пластилиновые шарики.

...А совсем утром ей приснилось, что ее зовут обыкновенным хорошим именем Таня, таким уютным, домашним...

– Ева! – Бабка стучала в стенку из кухни. Значит, завтрак готов, пора вставать. – Евка!

– Ну что ты стучишь, как гестапо! – сонно пробормотала она, заведомо зная, что бабка не услышит и будет колотить в стенку до тех пор, пока Евка не появится на кухне.

Она с закрытыми глазами нашарила шлепанцы и поплелась в ванную.

«Эта физиономия, – подумала она, разглядывая себя в зеркале над умывальником, – всегда напоминает мне о чем-то грустном».

Евка привыкла думать о себе как о чужом и не совсем приятном ей человеке. Почистив зубы, она внимательно посмотрела на свое отражение и сказала ему полусшепотом, чтобы бабка не слышала: «Папа говорит, что ничего – все девушки к шестнадцати годам расцветают. Что ж, будем надеяться... Но ты, дитя мое, что-то подозрительно долго не расцветаешь! Прости, конечно, но сдается мне, что ты просто-напросто кикимора!» – закончила она и водрузила расческу на место, потому что бабка любила порядок. Скуластая и раскосая Евка в зеркале ничего не ответила, но, наверное, затаила обиду.

– Евка! – опять крикнула бабка из кухни. – Все простыло!

«Ну и имечко!» – подумала Евка в миллионный раз. Она так часто думала именно этими словами, что у нее уже выработалась мысленная интонация. «Ну и... – думала она на вдохе и делала крошечную паузу. – «И – имечко!» – кончала она на выдохе и мысленно ставила три восклицательных знака.

– Ев-ка! Что ты сегодня, сдохла?!

– Пора, пора, рога трубят! – вполголоса пробормотала Евка. Она вообще была негромким человеком.

На кухне бабка сплетничала с соседкой.

– С женой он не разводился, – доверительно сообщала бабка, – но у него была еще женщина, любовница... – Увидев Евку, она смутилась и поправилась: – Он... он с ней... э-э... дружил...

– Да, – иронично и негромко сказала Евка, садясь за стол. – Дружил. С женой он дружил ночью, с любовницей – днем.

– Попридержи язык! – закричала бабка.

– А ты не сплетничай о моем отце, – спокойно ответила Евка. – Что там у тебя, котлеты? Я не хочу...

– Ничего, ты начни, аппетит разыграется.

– Разыграется, – буркнула Евка. – Ногами гамму до мажор в терцию.

Вообще она не любила долгие препирательства с бабкой, в которых та все равно выходила победителем. Она считала, что пожилым людям многое стоит прощать – так с ними легче жить.

Допивая свой чай быстрыми и мелкими глотками – она опаздывала на репетицию, – Евка доброжелательно сказала бабке:

– Заметь, каждое утро даю себе слово не огрызаться. Не из благих побуждений, мне просто лень... Но обещаю, шеф: если ты еще раз утром начнешь ломиться в стенку – я останусь заикой и, как инвалид, буду жить на твоём иждивении. А это тебе не улыбается, насколько я понимаю...

Ее сапоги в коридоре стояли рядышком, сиротливо, как два новобранца с обнаженными головами, и Евка поскорей стала их натягивать. «Ты опять опоздаешь», – напомнила она себе. Потом она долго стояла на остановке троллейбуса. Здесь ходили только восьмой и одиннадцатый. Евка ждала одиннадцатый, и, как всегда в таких случаях, восьмые ходили один за другим, а одиннадцатых вовсе не было, и поэтому казалось, что восьмых на линии сто штук, а одиннадцатых всего два и водители обоих пьяны.

С утра шел снег... Медленные снежинки оседали на меховой шапочке с козырьком и на воротнике куртки.

Евка опаздывала на репетицию. Она играла в джазово-симфоническом оркестре при народной филармонии. В оркестре играли ребята из консерватории, из училища, и Евка – выпускница специальной музыкальной школы – была там самой маленькой. Она играла на фоне, а иногда, когда не приходил Рюрик, на электрооргане...

Когда она пришла, ребята уже налаживали аппаратуру. Евка положила ноты на рояль и наблюдала, как Дима устанавливал микрофон. Он очень сосредоточенно крутил что-то, время от времени откидывая назад спадающие на глаза черные волосы. У Димы была смуглая кожа, очень темные брови, ресницы и глаза, поэтому белки казались особенно яркими и светлыми.

«Слушай, а он тебе нравится, – сказала себе Евка и, немного подумав, небрежно ответила: – Да, чуть-чуть...»

– Раз... раз... – буркнул в микрофон Дима, и в динамике гулко отозвалось: – Раз, раз...

Евка подумала, что скучно, когда все, проверяя микрофон, говорят почему-то «Раз, раз...». Будто нет других слов... Она подошла и сказала в микрофон:

– Крокодил.

– Крокодил, – отозвалось в динамике.

Дима увидел ее и улыбнулся.

– А, праматерь! Привет, как жизнь?

С ним всегда можно было перекинуться парой интересных слов. С ним и с первой скрипкой – Акундиным. Акундин был совсем взрослым, он занимался на четвертом курсе консерватории и часто на репетиции приводил девушек. Каждый раз новую.

Бородатый Акундин вообще был занятым человеком. Он в совершенстве владел тем языком, на котором говорило его поколение. В первую репетицию он заметил Евке: «А ты здорово себя преподношишь, дитя...» И она сразу подумала, как много люди говорят бессмысленных и неточных слов. Она представила себя почему-то жареной курицей с торчащей вверх ножкой и как она себя преподносит...

Ерунда какая-то!..

– Рюрик просил передать тебе эти ноты, – сказал Дима. – Он опять заболел...

Евка взяла ноты и в который раз удивилась, какой этот Рюрик милый и предупредительный человек. На прошлой репетиции она вскользь заметила, что здорово было бы поиграть рапсодию Гершвина, да ноты трудно достать. И вот он бегал по городу, доставал, может быть, простудился из-за этого. Чудак такой... Евка вспомнила его ласковый, чуть косящий взгляд и улыбнулась. Он один из всего оркестра называл ее не праматерью и прародительницей, а как-то забавно и щекотно, так что Евка морщила нос, когда он к ней обращался. Он называл ее «Еванька». Ужасно смешно! Евка опять вспомнила его ласковую, просящую улыбку и подумала: «Какой милый мальчик этот Рюрик. Нежный ко всем, без исключения... Князь Мышкин... Это, наверное, то, что называется светлой личностью. Я бы хотела, чтобы у меня была собака с таким характером... Нет, нет, это ничуть не оскорбительно! – заверила она саму себя. – Настоящего друга-собаку с таким характером...»

– Рюрика надо навестить, – сказала она Диме, который, сидя на корточках, настраивал что-то еще... – Завтра воскресенье, ждите меня с Акундиным у киоска в двенадцать.

– Вопросов нет, – ответил Дима.

Потом пришел Акундин, весь белый от снега, с белой бородой и бровями, пришел руководитель оркестра Александр Никифорович, и все начали настраивать инструменты.

Евка сидела у рояля и брэнчала двумя пальцами. Подошел бородатый Акундин со скрипкой.

– Дайте-ка «ля», босс... – пропел он.

– Два доллара в кассу, – лениво парировала Евка и ткнула указательным пальцем в клавишу. Клавиша была белая, как зубы Акундина.

Может быть, из-за погоды, а может, из-за чего-то другого репетиция шла вяло. Евка время от времени смотрела в окно на падающих с неба бесшумных паучков, и ей было скучно и тяжело – в общем-то, ее всегдашнее состояние.

Перед ней сидел Дима, и она видела совсем близко его затылок и спину. Ей нравилось смотреть на его черные, блестящие волосы, нравилось смотреть, как он отсчитывает ритм ногой, нравилось, как иногда он оглядывался, встречался с ней глазами и приятельски подмигивал.

В перерыве музыканты встали покурить, Акундин с Димой пошли в буфет, а Евке нечего было делать. Слева стояла ударная установка. Евка знала секрет – если подойти вон к той большой тарелке и щелкнуть по ней пальцами, она издаст такой звук: «Чаххх!» И тогда можно медленно и торжественно произнести: «Прошло двадцать лет...» И это смешно...

Подошли Акундин с Димой. Акундин жевал кусок колбасы с хлебом.

– Ты... неплохо сегодня... в соло... – промычал он Евке, пытаясь проглотить кусок.

– А я зато могу делать «Прошло двадцать лет...», – просто и доверчиво сказала Евка.

Дима чуть не умер от смеха, а Акундин перестал жевать и внимательно посмотрел на нее.

– Ты сегодня в расстроенных чувствах, девочка? – спросил он. И в голосе его не было ни капли насмешки.

– Да нет, в сущности... – ответила ему Евка. И чтобы Акундин понял, что отвечает она только ему, а не Диме, она посмотрела прямо в его умные и настороженные глаза. – Просто сегодня в связи с погодой, наверное, у меня разболелось одиночество. Но это чепуха, старые раны всегда ноют в непогоду... – И тут же ей стало стыдно, что она вдруг это сказала, и она быстро перебила себя: – Ой, ребята, слушайте, у меня кот необычайно талантлив. Возьму на фоне «ля» – он в ля мажоре мяукает, возьму «соль» – он воет в соль мажоре... Гениальный кот!

– Да нет, просто кот с музыкальным слухом, – серьезно сказал Акундин и посоветовал: – Ты приведи его к нам в оркестр, здесь и похуже есть.

Они посмеялись, потом Дима долго рассказывал о каком-то знакомом, который привез на остров двести яиц, вывел из них куриц и перепродал.

– Какой-то современный Робинзон Крузо со спекулятивным уклоном, – заметила на это Евка.

Они болтали, как всегда небрежно, обо всем и ни о чем, в сущности... Акундин с удовольствием пересказывал консерваторские сплетни до тех пор, пока Александр Никифорович не встал за пульт и не постучал палочкой, возвещая конец перерыва.

После репетиции они вышли втроем на улицу и остановились у киоска – Дима покупал журнал «Смена». Акундин, запрокинув голову, посмотрел на небо, и его борода сразу стала похожа на бороду умирающего Бориса Годунова.

– Посмотрите, какая туча надвинулась на этот город! – сказал он, и с этого момента Евка поняла, что здорово его уважает. За то, что он очень взрослый и умный, за то, что, несмотря на его пошлое воспитание, он умеет быть порядочным с порядочными людьми, за то, что он сказал сейчас про тучу торжественно-эпическим тоном, как древний сказитель о славной дружине Олега.

Еще она подумала, что хорошо все-таки видеть по субботам Рюрика, Диму, Акундина, этих симпатичных ей людей. Все-таки хорошо...

Они договорились навестить завтра Рюрика и разошлись по своим делам. Евка пошла по магазинам – отчасти потому, что ей нужно было кое-что купить, отчасти потому, что не хотелось идти домой.

Снег прекратился, но небо оставалось угрюмым и было похоже на старую шинель, тяжелую и плохо греющую, которой накрылся хворающий зимой город.

На троллейбусной остановке стояли всего двое – старуха в сером пуховом платке и высокий мужчина в коротком полушубке. Он нетерпеливо посматривал на часы и щурил раскосые темные глаза.

Евка остановилась и прислонилась к будке с газводой, чтобы можно было наблюдать за мужчиной. Она и не думала подходить к нему, ей было хорошо стоять так поодаль, чувствуя в груди теплые толчки сердца, и следить за милыми, дорогими движениями этого человека.

«Отпустил усы... – подумала она. – И ему очень идет. Молодит. Он стал похож на д'Артаньяна средних лет... А в пальто, конечно, свернутая в трубочку газета. Не подойду, он куда-то спешит...»

Но вдруг ей стало страшно, что вот сейчас подойдет троллейбус, и этот человек уедет куда-то по своим делам, и бог весть когда они еще встретятся так случайно...

«Только подойду и спрошу: скучает он по мне или нет... – подумала она. – Любопытно: скучает или нет...»

Она подошла к нему сзади, тронула за рукав полушубка и негромко сказала:

– Папа.

Он вздрогнул, обернулся и...

Он взял в ладони ее лицо и, взволнованно и радостно вглядываясь в него, быстро сказал:

– Евочка, детка моя родная!.. Откуда ты здесь, что ты тут делаешь?

Но Евке важно было задать ему сейчас тот вопрос.

– Ты шкучаешь по мне? – Теплые отцовские ладони не выпускали ее мордочку, поэтому слова звучали смешно и шепеляво, как будто Евке было три года. – Шкучаешь по мне?

Отец засмеялся, сказал:

– Скучаю, конечно, детка моя. – Он отошел чуть-чуть назад. – Как ты вытянулась! Какая ты стала хорошенькая! Повернись. Тебе мало это пальто. На днях купим новое...

Он говорил, быстро перебивая себя, смеясь и жадно дыша на озябшие Евкины руки.

– А я был у тебя три раза, но не застал.

– Я не живу дома, – улыбаясь и разглядывая его, сказала она. – Я живу уже полгода у маминой тети. Тетя Соня, помнишь? Я не могла больше жить одна в пустой квартире, это очень тяжело. Ты спешишь куда-то?

– Что ты! – сказал он. – Мы не виделись полгода... Я так рад, что встретил тебя!
– А я с репетиции. Помнишь, я тебе говорила, что играю в оркестре? Не помнишь... Если ты не слишком торопишься, сядем в том скверике на скамейку... Там хорошие скамейки...

– Да, да, конечно... – сказал отец.

Они сели. Отец достал пачку сигарет, закурил.

– Ты куришь? – улыбувшись, заметила Евка. – Удивительно. Не поддайся соблазну в юности и начать курить в сорок лет...

– Эта тетя Соня к тебе хорошо относится?

– Она по-своему ко мне привязана. А я нет. Ты же знаешь, я человек без привязанностей...

– Мама пишет? – осторожно спросил он, глядя в сторону. А Евка смотрела прямо ему в лицо, улыбаясь и вглядываясь в морщинки у глаз. Вблизи отец не казался таким молодым... Она смотрела на свернутую трубочкой, торчащую из кармана газету, и ей было хорошо и спокойно, как в детстве, когда все они были вместе.

– Мама пишет, шлет деньги, зовет к себе – в общем, делает все, что в таких случаях полагается делать... Но я не поеду, я не нужна ей... – Евка вдруг вспомнила Акундина и спокойно сказала: – Мама в расстроенных чувствах, ты же знаешь... Она второй год в расстроенных чувствах... Она тебя любила больше, чем меня, наверное, поэтому уехала, когда ты... ушел...

– Маму не надо осуждать, Евочка, – так же осторожно сказал отец.

– Ни в коем случае... – подтвердила она. – Я не судья, папа. Да и бесполезно осуждать женщину, которая может два года жить вдали от своего ребенка. Это уже бесполезно... Я ни к кому не привязана, поэтому не имею права осуждать ни маму, ни тебя. – Она помолчала. – Я только давно хотела спросить тебя, папа... Я понимаю, что любовь к женщине может пройти... Но мне всегда казалось, что любовь к своему ребенку, во всяком случае, пока он жив, – чувство непреходящее. Разве это не так? Ты можешь расценивать это как простое любопытство. Простое любопытство, потому что, видишь, мне уже не больно говорить об этом, я говорю спокойно, как говорят о давно умершем близком человеке. Единственно, что бывает больно по вечерам, – это то, что я совсем одна...

– Евочка... я... я замотался совсем... – забормотал отец. – С семьей, с квартирой... Я же предлагал тебе жить с нами, ты отказалась...

– Я не судья, папа, – мягко улыбаясь, повторила Евка. Она протянула руку к его лицу и провела мизинцем по левой полоске усов. – Кто-то изобрел прекрасную формулу – «Жизнь – сложная штука». Это замечательный щит для всех от всего на свете. «Жизнь – сложная штука» – и баста! Как объяснение и оправдание всех ошибок в мире. А я не судья, чтобы осуждать, и не Христос, чтобы прощать. Я, папа, просто равнодушный человек...

Отец оторвал наконец взгляд от снега и задумчиво и горько посмотрел на нее.

– Ты стала совсем взрослой.

Евка вздохнула и удивилась про себя своему спокойствию. «Ну же, – сказала она себе, – что же ты молчишь? Что же ты не скажешь ему всего, что накопила ночами? Помнишь, ты мечтала о том, как встретишь его и бросишь в лицо: «Вы оба – предатели! Вы оба бросили меня. Ты – ради той женщины, мать – оттого, что, кроме тебя, ей никто не нужен. Даже дочь! Вы убили меня в четырнадцать лет! Я не живу. Я совсем одна на свете...»

Но ничего этого ей не хотелось говорить. Ей было жалко человека, который, в сущности, был намного счастливее ее. Почему-то жалко...

И чтобы переменить тему и закончить этот тяжелый и никому не нужный разговор, она начала рассказывать об оркестре, о Диме, Акундине... Рассказывала она долго и остроумно, даже упомянула о тарелке, по которой можно щелкнуть пальцами и сказать: «Прошло двадцать лет...» Отец с нежностью смотрел на ее оживленное личико, раскосые глаза и постепенно разулыбался, разошелся...

– Ну, пошли, я посажу тебя на тралик, – сказала она отцу. – Ты, должно быть, здорово опоздал куда-то.

Они стояли на остановке обнявшись, и им обоим было хорошо.

– А ты знаешь, у тебя месяц назад братик родился, – сказал отец.

– Уповаю на бога, что ты не назвал его Адамом. И, думаю, бог мне поможет в этом деле, ведь будет оскорблено его родительское чувство.

Отец засмеялся.

– Я назвал его Сашей, – сказал он. – Позвони мне на днях. Мы пойдем покупать тебе пальто. Номер запомнишь? – он назвал номер.

– Запомню, – сказала Евка, зная, что не позвонит.

Подшел троллейбус. Отец вскочил на заднюю площадку и появился в морозном окне. Отсюда морщинок не было видно, и отец опять казался молодым и энергичным. Он что-то нацарапал на морозном стекле. Евка прочитала: «Позвони». Обратное это читалось: «иновзоП». Она кивнула, улыбнулась...

Троллейбус плавно тронулся, и отец помахал ей рукой. Он был уверен, что Евка позвонит...

«иновзоП... – подумала Евка и засмеялась. – Уважаемый товарищ иновзоП!»

Домой она шла пешком, не спеша, останавливаясь и поддевая носком сапога падающие с крыш сосульки.

Бабка сейчас, наверное, сидела дома и смотрела по телевизору этот многосерийный фильм «Четыре танкиста и собака». Евке фильм не нравился. «Какой-то анархический коллектив... – думала она. – Туда они едут, сюда они едут... Вообще создается впечатление, что если б не эти танкисты и эта собака, то немцы бы выиграли войну...»

Завернув в свой переулок, Евка удивилась так, как, вероятно, никогда в своей жизни не удивлялась. У ее калитки стоял Акундин, и это событие было как бомба, которую бросил в партер дирижер симфонического оркестра. Акундин стоял у лотка, где обычно продавали падалицу – там на ценнике всегда было написано «Яблоки свежие (загнившие)», – и, пританцовывая от холода, смотрел на приближавшуюся Евку.

– А я тебя давно жду! – улыбаясь, крикнул он ей. – Выглянула, понимаешь, симпатичная пенсионерочка и вразумительно сказала, что Евки нет и черт знает где она шляется. Вот я решил подождать.

– Это шеф, – сказала она. – Это таежный медведь на пенсии. Не стоит обращать внимания.

Евка открыла калитку, пропустила его вперед и спросила:

– Ты просто так пришел в гости?

– Просто так, – засмеялся Акундин. – В гости. Адрес узнал у Димы. Мне почему-то захотелось прийти к тебе. Не забежать, не заглянуть, не зайти, а именно основательно прийти, посидеть и даже, знаешь, где-то что-то вроде выпить чаю...

– Не чаю, а кофе, – поправила она. – Я сделаю тебе превосходный кофе.

– Прекрасно, девочка, кофе! – обрадовался Акундин. – И, бога ради, не подумай, что я пришел потому, что ты сегодня там... На репетиции... – Он замолчал.

– Раздевайся, – улыбнулась Евка и сама сняла с него шляпу, всю в мягких паучках. – Я ничего не думаю. И не церемонься с этим делом вообще. У меня даже нет болезненного самолюбия, вот насколько я равнодушный человек.

Акундин, потирая руки от холода, зашел в ее комнату и остановился на пороге.

– Это твои рисунки? – пораженно спросил он, оглядывая завешанные рисунками стены.

– Мои, – небрежно ответила она, заходя за ним в комнату. – Здесь мое – только рисунки и вон то зеркало. Если сесть на диван, можно увидеть себя в нем. Сначала нужно зажечь свечку, вот так... – Она чиркнула спичкой, и оранжевый лепесток огня задышал теплом и тем еле

уловимым Евкиным запахом, который исходил от ее рисунков и жил в углах комнаты. – Когда свечка зажжена, можно сесть на диван и увидеть в зеркале девушку, вот так...

Акундин обернулся и увидел в глубине зеркала неясное пятно лица, длинные темные волосы, беспомощные углы плеч...

– Это человек, который мне неприятен, – сказала Евка. – Я, знаешь, ее презираю. Вялое и равнодушное существо, которое никому не нужно. Садись в кресло, Акундин, напротив меня. Сейчас ты получишь обещанный кофе.

Она вышла на кухню.

Акундин зажмурился, устало потер ладонями лицо: он все еще не согрелся, – встал и остановился у портрета Хемингуэя, сделанного тушью. Рядом висел акварельный Арлекин. Длинный рот его был растянут в мучительно-веселую гримаску, морщины у рта были глубже, чем на лбу. Красный колпачок свесился с головы и закрыл ему один глаз, а другой глаз смотрел на Акундина насмешливо и печально одновременно. «Ну что, борода? – спрашивал он. – Поведай-ка нам какую-нибудь консерваторскую сплетню».

Евка появилась в дверях с двумя чашками кофе, поставила их на столик и весело сказала:

– Прошу, сэр. Я плохая хозяйка, но ты просто не обращай на меня внимания.

Акундин обернулся к ней и тихо спросил:

– Девочка, слушай, ты... в самом деле совсем одна? Как же ты живешь? – еще тише спросил он.

– Ого, какой трагический тон! – улыбнулась Евка. – Садись и пей кофе, пока он не остыл... А я привыкла, я два года уже одна. Ну, и все-таки бабка где-то близко обитает, газеты любит вслух читать, через стенку слышно...

Евке было хорошо, ей было просто здорово, оттого что пришел Акундин. Он сидел в кресле, по-домашнему скрестив ноги, грел озябшие руки о чашку с горячим кофе и был похож на молодого Чехова. Может быть, благодаря этому сходству он казался необыкновенно добрым и мягким... И необыкновенно порядочным...

И разговаривали они не так, как на репетициях. Их разговор был совсем не похож на то ловкое жонглирование фразами. Временами Акундин замолкал и задумчиво смотрел на огонек свечи, потом спохватывался, улыбался и начинал рассказывать, как летом жил с друзьями в горах и как в гости к ним приходил один осел. Он сожрал у Димы кусок поролонового матраса, на котором Дима спал, и поэтому осла прозвали «Поролон». Потом он приходил с ослицей. Серенькой и грустной. И она была «Подруга Поролона». Евка счастливо улыбалась и время от времени удивленно спрашивала: «Ей-богу?»

– Бога, безусловно, нет, – серьезно сказал Акундин. – А если даже он есть, то это такая скотина, какой свет не видывал...

Евка согласилась с ним.

Впервые за два года ей было хорошо. Хорошо с этим в общем-то чужим и в то же время таким теплым, добрым, уютным человеком... Потом, в коридоре, Акундин долго надевал ботинки и чертыхался, потому что они были мокрыми и разбухшими от снега. Евка сняла с гвоздя его пальто и вдруг засмеялась – у щеголя Акундина на пальто вместо вешалки был пришит кусочек бельевой веревки. И это было особенно смешным... Самым смешным событием за этот день.

Она проводила его до калитки и еще с полминуты глядела вслед, подпрыгивая на снегу в домашних тапочках. То на одной ноге, то на другой.

Акундин два раза оборачивался, кивал бородой, и в эти моменты по какому-то дурацкому смешению в Евкиной голове исторических лиц и литературных героев был опять ужасно похож на оперного царя Бориса Годунова, у которого вместо вешалки на пальто пришит огрызок бельевой веревки...

Этот чудной Алтухов

Когда-нибудь я обязательно опишу его. Раскрою толстую тетрадь в клетку, чуть-чуть отступлю от края и подумаю, с чего бы начать... Да, когда-нибудь я обязательно опишу его. И, безусловно, начну с глаз.

«Глаза у него были, – напишу я, – как у выжившего из ума декабриста». И это будет началом его портрета. А потом мне надоест писать, я отвернусь к окну, за которым будет надлежащее время года – зима или осень, а еще лучше лето, – и вспомню наш последний разговор (хотя разговором его вряд ли можно назвать, да мы, пожалуй, и вообще никогда не беседовали с ним, как нормальные люди).

...Это была пустая аудитория, та самая, с пианино у окна. Я сидела и переписывала вопросы к семинару. И вот тут заглянул мой обожаемый Алтухов.

Он был ужасный урод, самый настоящий обаятельный урод. Глаза у него были настолько широко поставлены, что находились ближе к вискам, чем к переносице. И казалось, природа предусматривала наличие третьего, циклопического глаза, но потом забыла его ввинтить, и место теперь пустовало. Глаза были круглые, черные, как у встревоженного цыпленка. Ходил он ссутулившись, не спеша и слегка враскачку, отчего создавалось впечатление, что этому неприкаянному человеку абсолютно нечего делать и некуда деть себя...

– Здравствуй, Диночка! – сказал он и вошел. – Как дела? Давно мы с тобой не говорили...

– Да? А разве мы когда-нибудь вообще о чем-нибудь говорили? – спокойно спросила я.

– Слушай, слушай, я расскажу сейчас что-то интересное. – Он сел за пианино.

Я подошла и встала рядом. А он сидел, повернув голову к окну, и, легко аккомпанируя себе короткими аккордами, насвистывал какую-то песенку. Долго насвистывал.

– Ну? – наконец спросила я. – Внемлю. Ты, кажется, собирался что-то поведать мне.

– А? Чего? – рассеянно спросил он, перестав играть и недоуменно смотря на меня.

Я молча улыбнулась.

– А, ну да! Вот послушай песенку... – И он, опять засвистев, отвернулся к окну, думая о чем-то своем.

Я обошла пианино и заглянула в глаза уроду Алтухову. И опять он мне напомнил сумасшедшего декабриста, который день и ночь стонал: «Погибла идея! Погибло дело!»

– Вот так тебя доконало это восстание на Сенатской площади, – сказала я.

Он кивнул, продолжая осторожно подбирать какие-то гармонии. Он всегда кивал, когда не слушал. Я думаю, это для того, чтобы ему не мешали думать...

Он был талантливый и смешной. На мой взгляд – редкое и милое сочетание. Я не могу сказать определенно, в чем выражался его талант. Он был очень музыкален, он был, как говорится среди музыкантов, слушачом. Но не это главное. Он принадлежал к той породе людей, которые способны мгновенно воплощать в слова и жесты все удачное и прекрасное, что мелькает в их воображении, воплощать метко и образно, не тратя времени на режиссуру. У него получалось все так легко и свободно, словно он долго репетировал. Алтухов изумительно владел своим телом, интонациями своего голоса, мышцами своего лица и мог моментально воспроизвести любой увиденный где-то жест или движение, любой услышанный разговор. Он изображал так, что мы все обалдевали. Он чертовски захватывающе рассказывал всякие небылицы из своей жизни. И мы верили. И мы хохотали. И глядели на него восторженными, влюбленными глазами.

И вдруг он уходил. Он поднимал воротник своего синего плаща, брал под мышку футляр со скрипкой и уходил по узенькому тротуару прочь от консерватории, не появляясь в ней неделями.

О существовании Юрки я узнала в тот день, когда у нас пропала лекция по «Анализу музыкальных форм». Бог знает, из-за чего пропала – то ли преподаватель заболел, то ли очередное мероприятие на кафедре проводилось, – мы толком и не узнали. Алтухов как-то сразу заморочил мне голову, и мы от нечего делать пошли мотаться по магазинам.

Это было очень увлекательное путешествие. «Пойдем знакомиться с манекенами! – сказал Алтухов. – Заведем себе парочку друзей. Они прелесть, эти манекены, знаешь? Вежливые, милые, без претензий на духовное богатство». Я засмеялась.

В витрине магазина музыкальных инструментов стояла девушка-манекен со скрипкой. Шейка скрипки покоилась на ее раскрытой гипсовой ладошке, а удивленно-приветливые гипсовые глаза созерцали пульт, на котором стоял перевернутый вверх ногами «Само-учитель игры на баяне». Манекен не был приспособлен для демонстрации музыкального инструмента и был похож на девушку, играющую в «стоп, замри!». Правая рука с нечеловечески длинными пальцами указывала на левую, и девушка как бы предлагала нам взглянуть и подивиться, что это за штуковину вставили ей между шеей и кистью левой руки.

– Слушай, слушай! – вдруг воскликнул Алтухов и остановился. – Как мне грустно от этой девушки! Почему? Наверное, потому, что мы с ней похожи. А знаешь чем? – Он засмеялся.

– Тем, что одинаково разбираетесь в скрипичном репертуаре! – съязвила я.

– Тем, что она успела сделать в жизни примерно столько же, сколько и я... – не обращая внимания на мой выпад, серьезно сказал он. – А ведь она существует гораздо меньше, а? – и задумался, поеживаясь от ветра и пряча подбородок в ворсистый коричневый шарф.

Мы обошли еще несколько магазинов, и вот тут я заметила, что его тянет в отдел игрушек. А меня туда почему-то не тянуло. Я с трудом затащила его в отдел верхней одежды и заставляла держать вешалки, пока примеряла всякие пальто...

Рядом со мной какая-то маленькая толстая женщина крутилась возле зеркала, пытаюсь увидеть в нем свою спину, вернее, хлястик на спине. Ее светлые волосы были скручены желтой резинкой на затылке в пучочек, а зубы почему-то росли здорово вперед. Очень вперед. Признаться, я еще в жизни своей не видала женщину с такими короткими толстыми ногами и чтобы зубы у нее настолько росли вперед, что казались самым важным органом осязания.

Я аккуратно повесила пальто на вешалку, которую Алтухов держал, как робот, беспомощно оглядываясь в толпе женщин, и тихо сказала:

– Алтухович, знаешь, если бы у меня была такая внешность, я бы уже не покупала себе пальто. Я бы уже ничего не покупала.

– Ей холодно зимой, понимаешь... – ответил он.

– Но если ты когда-нибудь заметишь, что у меня стали такие ноги, убей меня, пожалуйста.

– Отстань, – сказал он и все-таки пробился в отдел игрушек.

Я бы могла спросить, для кого это он старается. Может быть, для племянника или какого-нибудь соседа. Но мы с ним вообще никогда не разговаривали нормально, поэтому я только кивнула в сторону пестрых коньков-каталок и сказала:

– Может быть, лошадку купишь?

– Да ну... – отозвался он, рассеянно оглядывая прилавок. – У Юрки и без этого столько лошадей, что он вполне может сколотить конармию.

На полпути к трамвайной остановке мы нашли на асфальте живую тепленькую летучую мышь. Алтухов держал ее на ладони, приподнимая то одно перепончатое крылышко, то другое, и что-то долго объяснял мне – наверное, объяснял, как можно летать при помощи таких штук. А я все время смотрела на него и думала, что если бы старик Алтухов закрыл минут на пять один глаз, а другой оставил открытым, то он бы стал похож на слепого рапсода со звездой во лбу. То есть она сначала вроде бы сияла во лбу, а потом скатилась на висок под бровь...

Мы решили положить мышь в водосточную трубу. Наверное, ей там будет уютней, ведь, надо полагать, у летучих мышей несколько иные взгляды на уют, чем у нас. Впрочем, потом, на

остановке, Алтухов вспомнил о ней и сказал: «Зря мы ее в трубу положили, там темно. Она еще подумает, что ночь наступила, вылетит и расстроится...» Он провел ладонью по лицу сверху вниз, как актер, надевающий маску расстроенной летучей мыши, и я засмеялась, потому что вместо великого комика и трагика Алтухова на меня круглыми испуганными глазами смотрела расстроенная летучая мышь... Так мы ничего Юрке в тот день и не выбрали.

А самого Юрку я увидела на ноябрьской демонстрации. Нам было велено собраться ровно в восемь возле консерватории, а я почему-то явилась на полчаса раньше, стояла и злилась на себя. И тут подходит Алтухов и за руку держит мальчишку, который время от времени от радостного ожидания очень высоко подпрыгивает.

– Это Динка, – сказал ему про меня Алтухов. – Вы, дети, стойте, а я на минутку в киоск. За сигаретами.

– Хорошо твоему Алтухову! – сказала я мальчику. – Он думает, если ему целых двадцать семь лет и он где только по свету не мотался, так уж всех людей можно детьми обзывать...

– А оркестр будет? – радостно спросил парнишка и подпрыгнул. Здорово высоко он прыгал. И выговаривал букву «р». А я очень уважаю детей, которые вопреки шаблону выговаривают букву «р».

– Ну, это зависит от того, как тебя зовут, – ответила я.

– Юр-р-р-ка! – заорал он. Он безумно хотел, чтобы заиграл наш студенческий оркестр – наверное, Алтухов обещал.

– Будет, будет. Сейчас выйдут наши молодцы и начнут дуть в свои трубы. Морды у них станут красными, а трубить они будут так фальшиво, что даже ты услышишь. Но тебе, я понимаю, все равно...

У меня создавалось впечатление, что прыжки в высоту были главным занятием в его жизни. Он сосредоточивался, вытягивал руки по швам и подпрыгивал вверх солдатиком.

– Ты опять?! – грозно крикнул Алтухов. В зубах у него торчала сигарета, и глаза были круглые и веселые. – Я предупреждал тебя, ты ударишься головой о звезды, и тогда я ни за что не отвечаю!

– Где же звезды? – тихо и испуганно спросил Юрка, прикрыв ладошкой затылок.

– Ну, тогда собьешь с ног Динку-пианистку. А ей, как летчику, без ног – никуда. На педали-то как нажимать?

– Она на велике ездит? На гончем?!

– На легавом, – ответил этот великий воспитатель Алтухов. – На легавом с отвислыми ушами.

Он взглянул на меня своими дурацкими круглыми глазами. На этот раз взгляд был насмешливым и ласковым. И это было особенно оскорбительно. Потому что я знала: это его дар – сказать что-нибудь настолько образно и метко, чтобы слушатель сразу увидел сказанное в действии. И я знала, что сейчас представляюсь Юрке верхом на смешном легавом велосипеде с отвислыми ушами. Уж не знаю, каким он казался Юрке, этот велосипед, но лично мне он представлялся довольно ясно...

– Слушай, знаешь что! – разозлившись и от растерянности не зная, что ему ответить, выпалила я. – Вынь наконец свои руки из карманов плаща! Это неприлично!

– А-а, вздор... – не вынимая рук из карманов, лениво ответил он. – Предрассудок с тех времен, когда какой-нибудь ковбой носил в кармане плаща огнестрельное оружие. Тогда было просто страшно, если навстречу шел человек, засунув руки в карманы.

Оказывается, у них сегодня была разработана целая программа действий. После демонстрации – просмотр какого-то нового цветного художественного фильма, потом – катание на самой большой карусели в мире, той, что в парке культуры и отдыха (сколько помню себя, карусель запускал один и тот же пьяный дядька, понятия не имеющий о времени, в результате чего одна группа детей каталась полчаса, другая – десять минут), и в заключение, как мощный

аккорд «Богатырской симфонии», – сто граммов крем-брюле в кафе «Снежинка»! (Не замечали, что во всех городах имеются кафе именно с таким названием?)

– Если вы не пригласите меня с собой, – пригрозила я, – вы будете иметь дикий скандал!

И они испугались. И пригласили меня с собой. Мы сидели под красным пластиковым тентом и копались ложечками в тонконогих розетках. Солнечные лучи, проникая сквозь тент, полыхали на Юркиной и алтуховской физиономиях алым пламенем.

– А ведь ты сегодня еще ничего не наврал, – заметила я. – Ну-ка, давай начинай, рассказывай.

– А что? Как я тонул этим летом, рассказать? Только держитесь покрепче за ложки, а то упадете со стульев. Этим летом я отдыхал в... – и замолчал. Как будто задумался. Это он всегда нам так нервы трепал.

Я подождала немного и нетерпеливо спросила:

– Так где ты отдыхал этим летом, старый черт?

– В горах, – сказал он и посмотрел на нас своими круглыми черными глазами, расставленными настолько широко, что они были похожи на два удаленных друг от друга маяка в штормующем море. – Понимаете, дети, – тихим и красивым голосом сказал он, – представляете, дети... Снег – и белые березы!

Это в горах-то белые березы!.. А впрочем, не берусь утверждать обратное. Он так красиво рассказывает, вернее, он так красиво показывает, этот вун Алтухов!

– Речка там – чокнутая. В ней не то что купаться – умыться было невозможно. Того и гляди наклонишься, а голову оторвет течением и понесет, как божье яблоко, – только глазами вращай. Ну, и играли как-то мы с ребятами на берегу в волейбол. И вдруг мяч ветром на воду снесло. Я наклонился, чтобы рукой достать, оступился и – шарах! – в воду.

Он замолчал. Но живой же он был, этот Алтухов, сидел же сейчас рядом с нами!

– Метра два по инерции, ничего не понимая, плыл за мячом, а потом так скрутило, завертело, что не до мяча стало... Меня на камни несет, я за них цепляюсь, а они скользкие, холодные, острые, только руки все поранил. Тут меня опять подняло, вынырнул и ослеп – солнце вверху тяжелое, охристое, падает на голову, как кулак. «Нет! – думаю. – Сволочь! – думаю. – Ах ты, сволочь!» Не помню, что дальше. Кажется, швырнуло меня на камни у берега, я мертвой хваткой во что-то вцепился, выполз. Выполз – труп. Упал в какие-то кусты и сижу, как кусок студня. Сижу, и все... Подбегают ребята, говорят: «А здорово ты за этим мячом плыл, мы по берегу бежали, спорили: поймают или не поймают. Ну на кой тебе этот мяч сдался?» А я сижу в колючках, обхватил голову порезанными окровавленными руками, плачу и смеюсь...

Я смотрела на Юрку. Он спокойно слушал, он совсем не волновался за Алтухова, он, наверное, думал, что с его Алтуховым никогда ничего не случится.

На следующий день Алтухов явился в консерваторию позже обычного. Он был в очень линялой зеленой рубашке.

– Я ее постирал так тихонько, ласково... – объяснил он. – А она взяла и слиняла. Вот дура, а? – и смеется.

Я отозвала его в сторону.

– Признайся, злостный алиментщик Алтухов, это твой ребенок? – грозно спросила я.

– Это не мой ребенок, – ответил он. – Но это – мой сын. Я понятно объясняю?

– Ну конечно! – сказала я. – Ты украл его, когда кочевал с пушкинскими цыганами. Разве не так? «Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют...» Или Юрка – сын несчастной падшей женщины, которую ты наставил на путь истинный, а потом великодушно взял в жены с ребенком?

– Не дай бог на ней жениться, – вдруг серьезно и как-то брезгливо сказал он. – Это – ужасная женщина, а что касается Юрки, ты почти права: я собираюсь его отнять и воспитать.

вать... А ты – клопик. – Он легко провел указательным пальцем по моему носу, от переносицы до кончика. – Она когда-то была моей любовницей, ясно?

– Алтухов, я маленькая первокурсница, – сказала я. – Любовница – это непонятное слово.

– Добро, – коротко ответил он и забрал у меня конспект по истории.

Забрал конспект и пропал на неделю. Нет и нет его... Сначала я все выглядывала в окно на узенький тротуар – не появится ли его синий плащ, но он не появлялся. А мне ужасно был нужен конспект по истории! Впрочем, чего врать! Какому студенту нужен конспект в середине семестра... Я узнала в деканате его адрес – Алтухов снимал комнату в старом городе – и после занятий поехала к нему.

В этот день лил сумасшедший скачущий дождь. Он прыгал по тротуарам, сбежал у обочин в кофейные реки и мчался дальше, барабанил по листьям деревьев.

Я стояла на остановке автобуса и наблюдала за хромой пегой псиной, которая обнюхивала мокрые скамейки и заискивала перед прохожими, особенно перед какой-то молодящейся старухой с цветным зонтиком. Старуха время от времени отпихивала собачонку левой ногой в черном резиновом сапоге, и с собачонки от толчков лились потоки воды.

– Кто не любит собак, тот недостоин звания человека! – сказала я старухе. – Так говорил Сент-Экзюпери.

Сент-Экзюпери этого не говорил. Это сказала я. Но моего авторитета для нее было явно недостаточно. Поэтому я метнула в старуху своей цитатой и пригвоздила ее именем Сент-Экзюпери. А я не знаю, может быть, Сент-Экзюпери и сказал что-нибудь такое... Ну почему одна и та же мысль не могла прийти в голову мне и писателю Сент-Экзюпери!

Потом я купила в магазине бублик и минут десять гонялась за этой собакой, пытаюсь накормить ее. А она не брала. Она смотрела на меня тоскливыми рыжими глазами и, наверное, думала: «Слушай, ну отстань! Слушай, ну чего ты прицепилась?»

Алтуховскую калитку я долго не могла найти, потом меня завели в какой-то тупик и показали длинный одноэтажный дом. В нем жило много семей, и Алтухов снимал угловую комнату. Он увидел меня и испугался.

– О господи! – сказал он. – У тебя крылья промокли!

Он снял с меня плащ и повесил его на вешалку в общем коридоре. Давно я таких вешалок не видала – черные олени рога, похожие на худые двупалые руки калеки. Они тянулись со стены вперед, будто просили подаяние...

– Умер Леня Вайнер, – просто сказал Алтухов.

– Леня Вайнер? – растерянно переспросила я.

– Да, от менингита... Глупо, что умер Леня Вайнер...

Я молчала и боялась спросить его, кто такой Леня Вайнер. Наверное, это был кто-то из его старых друзей. Он думал, этот чудной Алтухов, что все люди должны знать и понимать друг друга и очень горевать, когда с кем-то из них случается беда... Если бы я подошла к Алтухову и сказала, что какому-нибудь Пете Сидорову позарез нужен синий алтуховский плащ, то он, я думаю, даже не спросил бы, кто такой Петя Сидоров и на черта ему дался личный плащ Алтухова. Он бы просто спросил: «На каком транспорте к нему добираться?»

На старом алтуховском диване спал Юрка. Его большая голова на подушке была как золотистый стриженный шар, а одна тонкая рука лежала поверх одеяла.

– А тут еще Юрка, дьявол, простудился... – шепотом сказал Алтухов. – Температура три дня держалась, а сегодня вот упала... Разбудить его? А то узнает, что ты приходила, и будет обижаться. Знаешь, как часто он тебя вспоминает!

– Ты думаешь, я на полминуты зашла? – сказала я. – Я сто лет здесь сидеть буду, он еще успеет проснуться.

Я подошла к столу и придвинула к себе листок, записанный нелепым алтуховским почерком.

«Вот так да! – подумала я. – Вот так новости!» Он пробовал сочинять акrostих на мое имя. И так странно было смотреть на эти буквы, написанные его рукой и складывающиеся в удивительно знакомое звукосочетание, которым называлась на этом свете я:

Д – давай подумаем, нужна ли нам зима?
И – и снег на крышах мертвенно-холодный,
Н – ненужный в отношениях туман...

Строчка на букву «А» не получалась.

– А – Алтух, поэт ты куда не годный! – подытожила я.

– Ну и не вмещается в ритм.

Мы сидели с ним на одном стуле, потому что больше сидеть было не на чем.

Сидели, опираясь друг о друга спинами, и шепотом разговаривали. То есть мы не разговаривали, а переругивались. Я его ругала, а он молчал или говорил в ответ какую-нибудь глупость. Вот не мог он мне как-то достойно дать отпор! Всем мог, а мне нет, и это удивляло.

Я вспоминаю, как однажды все мы сидели в тридцать шестой аудитории, и Сашка Белоконь, взгромоздившись на стол, рассказывал про свои знакомства с известными людьми. Как он с кем-то из них рубал в ресторане яичницу. Нам всем было противно... И вот тогда уставший Алтухов, неторопливо протирая носовым платком струны на скрипке, сказал ему вдруг негромко и ласково:

– Эх, Белоконь... – как будто с сожалением сказал он. – Ну, какой же ты Белоконь? Ты просто серая лошадка.

И мы все вокруг застонали от восторга и от обожания. А Алтухов бросил протирать струны, положил скрипку в футляр и вышел из аудитории. Он всегда умел уходить так, что всем хотелось вскочить и побежать за ним следом, вернуть его. А это, я считаю, дар божий – уметь уйти так вовремя, чтобы всем захотелось тебя вернуть.

Мы сидели спиной друг к другу, я чувствовала его горячее плечо и думала, что вот он, Алтухов, старый и одинокий человек. Ему уже двадцать семь лет, а, кроме Юрки, у него в этом городе ну никогошеньки.

– Когда я ушел из Института живописи... – начал он шепотом.

– Ты, должно быть, врешь, Алтухов, – перебила я, – наверное, тебя оттуда просто выгнали за то, что ты не умел рисовать.

– Рисовать? – переспросил он и улыбнулся. – Я был на скульптурном отделении... Ну, впрочем, да, и рисовать... Там есть такой предмет. Один из основных... – Он замолчал.

– Ты хотел что-то рассказать...

– А? Да нет, я просто вспомнил... Нам в институте позировала одна пожилая женщина. По профессии она была учительницей биологии. Спиной позировала... Спина у нее была худая и под левой лопаткой какой-то шрам... Жаловалась, что живет в коммунальной квартире, что соседи пьяницы и скандалисты и она мечтает подработать и сделать в своей комнате толще стенки. Поэтому и позирует. «Вот так я докатилась до вашего института...» – говорит. Чудаки, почти все они считали позирование чем-то зазорным... Нервная, издерганная женщина... Чуть что – плачет. А город менять не хочет. «Как выйду на Неву...» – говорит, и опять в слезы... Единственная мечта в жизни – подработать и сделать толще стенки. В этом что-то есть, а?

– Ничего в этом нет, – решительно сказала я. – Больная, нервная женщина, вот и все.

Я знала, что он учился в Институте живописи и скульптуры, но не видела ни одной его скульптуры, ни проволочного каркаса, ни засохшего куска глины, ни одного карандашного наброска... Как будто он начисто смел все, что связывало его с институтом. Однажды он рассказывал мне о своем товарище, вообще-то хорошем скульпторе, который покончил жизнь

самоубийством, оставив коротенькую записку: «Не обнаружил в себе гениальности». Записка лежала на снимке со скульптуры Родена «Амур и Психея».

В том, что эта дурацкая история была сочинена от начала до конца, я не сомневалась. Но вероятно и то, что Алтухов вложил в нее долю своего отношения к этой проблеме.

Я смотрела на спящего Юрку, на ребенка, которого страстно любил Алтухов, и мне хотелось сделать им обоим не просто что-то хорошее, а непременно что-то такое важное и громадное, от чего бы жизнь их сразу изменилась. Я просто ощущала такую жгучую потребность. Чтобы к ним не нужно было ехать полтора часа на старых, замызганных автобусах, которые сохранились только в старом городе, чтобы не надо было искать по тупикам их калитку, и чтобы в коридоре не висели эти страшные вопрошающие рога, и вообще чтобы Юрка не спал больше на старом алтуховском диване...

Я слушала, как Алтухов продолжал шепотом рассказывать что-то, и мне показалось, шепот его – нечто осязаемое, нечто мягкое и теплое, как живой воробей.

– Алтухов! – опять перебила я его, и он покорно замолчал. – Алтухов, я так люблю твои бредни, что, когда ты говоришь, мне хочется поцеловать звук твоего голоса... Что бы это значило?

Он поправил спавший с ноги шлепанец и сказал:

– Это значит, что ты проголодалась. Я сварил суп из курицы с двумя шейками. То есть у моей была одна и еще одну подарила соседка Нина Дмитриевна, потому что ее девчонка шейку не любит. Сейчас я согрею...

Пока он возился на кухне, Юрка проснулся и сел на диване, по-турецки скрестив ноги. Юрка пялил на меня сонные глаза и никак не мог поверить, что я пришла.

– Как ты вырос, Юрка! – сказала я. – Ты как-то подлиннел.

– Я скоро стану совсем большим! – похвастался он. – Таким большим, как Алтухов. Даже еще больше. Я скоро буду ходить руками по потолку, а ногами по полу... А еще я вчера набил себе синяк. Вот. – Он показал локоть. – Сначала он был красняк, теперь синяк. Потом будет зеленяк, а потом – желтяк.

– Это ужасно, когда человек сам себе что-нибудь набивает! – согласилась я. – Однажды я сама себе наступила на ногу и страшно злилась, потому что некому было сказать: «Хамка вы!»

– А еще... а еще... – Он повертел колючей головой, придумывая или вспоминая, какую бы еще новость мне выложить. – А еще я теперь у Алтухова живу, видишь? – радостно сообщил он. – И буду до-олго жить, если мама не спохватится.

– Ладно, молчи! – быстро перебила я. Еще не хватало, чтобы он тут выболтал мне алтуховскую тайну!

– Почему? – простодушно удивился Юрка. – Она не услышит, не бойся, она далеко! У меня мама – артистка. Только ее никогда на сцене не видно, потому что, как раз когда она выходит, много всяких людей вместе с ней танцуют или говорят. Алтухов сказал – это называется «массовка»... А правда, слово «массовка» похоже на слово «винтовка»? Я так думаю, что мама и не спохватится. Она ведь и так забывала в садик за мной заходить. Алтухов говорит – очень я ей нужен!

– Юрка! – закричала я, чтобы он наконец перестал рассказывать. – Если бы ты знал, Юрка, кого я сегодня на улице видела! Зеленого! С ушами и хвостом!

– Крокодила! – озабоченно крикнул он. – Но у него нет ушей!

– Чего вы разорались? – спросил Алтухов, заноса кастрюлю с супом. – Как голодные птенцы. Вот... – Он разливал суп по тарелкам. – Юрке шейку... и тебе шейку!

– Это суп из Змей-Горыныча? – спросил Юрка.

– Из царского двуглавого орла, – сказал Алтухов.

Потом он отвезил меня домой. Мы ехали в такси по ночному городу и смотрели на спящие троллейбусы, носами уткнувшиеся друг в друга. Они были похожи на причесанных людей.

Это из-за опущенных дуг. А кстати, почему дуг, когда это вроде бы прямые палки? У меня с детства слово «дуга» ассоциируется с широкой трехцветной радугой... Какие-то полузабытые стишки из детской книжки: «Ах ты, радуга-дуга!»

– Если бы ты знала, какая морковная луна всплывает над Ленинградом после белых ночей! – сказал мне Алтухов.

Он постоянно тосковал по Ленинграду, и иногда это чувствовалось так ясно, что мне становилось невыносимо жаль его.

– Знаешь, как скрипят входные двери в Институте живописи, – говорил он, – когда сторож закрывает их на ночь?..

– Почему ты уехал оттуда? – как-то спросила я, глядя в его круглые печальные глаза.

– Видишь ли, весной там не хватает витаминов, – ответил он и улыбнулся. – А я не могу без них.

И я его не стала больше спрашивать об этом; с ним невозможно было разговаривать; все не как у людей.

Даже последний наш разговор не получился человеческим. Потому что мы с самого начала, с того момента, когда он заглянул в аудиторию, не поняли друг друга. Я не поняла, что он пришел прощаться, а он не понял, что я решила наконец влюбиться в него, уroda... Поэтому, когда я обошла пианино, заглянула ему в глаза и сказала, что здорово его dokonало восстание на Сенатской площади, он кивнул, отвернулся к окну и вдруг сказал:

– Мы с Юркой уезжаем... – Аудитория была пустая и гулкая.

– Ты сегодня плохо побрил левую сторону шеи, – сказала я. – Поэтому по тебе, как по замшелому дереву, можно узнавать, где север и где юг.

– Мы уезжаем завтра, знаешь...

– У тебя бритва плохая. Или ты невнимательно брился, – сказала я. И заплакала. Беззвучно заплакала, чтобы он не слышал. А он и так не слышал, он сидел, отвернувшись к окну.

– Значит, план такой: я меняю Юрке фамилию, чтобы эта мадам не сумела найти его, отвожу парня к моей тете в Пермь, а сам еду в Институт живописи. Я не могу без Питера.

Я проглотила застрявшие в горле соленые всхлипы и сказала ровным голосом:

– Это жестоко – отнимать у женщины ребенка.

– Замолчи! – закричал он. – Что ты понимаешь, клоп! Господи, ну что ты понимаешь в жизни! Что ты знаешь об этой женщине? Это истеричное, дрянное, мелочное существо! Это опустившийся человек, у которого чувство материнства сведено к нулю. Юрка издерган, ему пять лет, а он уже знает, что такое мама в подпитии! Да что там! – Он замолчал.

– А ты в институт? – спросила я. – Опять в институт? Но ведь тебе уже двадцать семь, магистр, уже почти тридцать! Ты всю жизнь собираешься провести замечательным Никем? Талантливым, обаятельным Никем?

– Ты знаешь... – сказал он. – Когда-то я наткнулся на одну старинную гравюру – «Похороны Александра Македона». И никогда не забуду: воины, понурив головы, несут тело, и с носилок свесилась его мертвая рука. Рука – пустая... Владел половиной мира, а туда с собой ничего не взял. Сколько буду жить, буду помнить: пустая, беззащитная ладонь великого человека. Жест нищего, просящего подаяние...

Он медленно играл одним указательным пальцем хроматическую гамму от ноты си-бемоль вниз. И я отчетливо представила себе длинное черное шествие с телом Александра Македонского и увидела, что у воина, несущего факел перед носилками, было лицо Алтухова. А факел освещал безжизненную руку, свесившуюся с носилок, и тяжелые круглые глаза воина, спрятавшие в себя скорбь.

И я подумала, что, наверное, за то мы и любили Алтухова, что он рисовал себе захватывающие, чарующие картины, а потом дарил их нам, насовсем, выбрасывал, как выбрасывает большой волшебник всякие мелкие чудеса на потеху обыкновенным людям, забавлял нас – и

сам забавлялся этим от скуки. Потом покидал нас и мучился, что не делает ничего значительного, и шлялся по городам, и объявлялся снова сумасшедший, непонятный Алтухов...

А может быть, он тем и отличался от нас, что, не обнаружив в себе гениальности, он был потрясен до глубины души, это стало несчастьем всей его жизни. А мы как-то не замечали, не хотели замечать своей обыкновенности, своей будничности... Проще говоря, мы здраво смотрели на эти вещи, как и должно смотреть на них взрослым людям.

– ...Ты напишешь мне хотя бы, проклятый Ал-тухов?

– Не плачь, – сказал он. – Ты плачешь, как пьяный Сашка Белоконь. А я не люблю его...

– А кого ты любишь?! – заорала я.

– Тебя, – просто ответил он. Потом неловко залез в рукава своего плаща, взял скрипку под мышку и вышел.

Я стояла у окна, смотрела, как по узенькому тротуару прочь от консерватории удаляется сутуловатая фигура в синем плаще с поднятым воротником, и представляла, как через недельку какой-нибудь сашка белоконь сбегает в деканат, а потом, вернувшись, объявит: «Собратья, Алтухов пропал!»

– Не пропал, а исчез... – машинально поправлю я его и подумаю: как это мы тогда не поняли друг друга! Я не поняла, что он пришел прощаться, а он не понял, что я наконец-то решила влюбиться в него, уroda...

Дом за зеленой калиткой

До сих пор не могу понять, что же заставило меня эти дурацкие штучки взять... Забрать... Да что там церемониться! – украсть.

Да-да, налицо была кража. Пусть ерундовая, пусть совершенная восьмилетней девчонкой, но все же кража. Было бы понятно, если б я использовала их по назначению. Все знают, какой интерес проявляют даже маленькие девчонки ко всякой косметической чепухе. Так ведь нет! Я вытряхивала вязкий яркий брусочек губной помады сразу же, выйдя за калитку, – наивная неосмотрительность! И тут же, прополоскав блестящий патрон в прозрачной воде арыка, мчалась домой, ужасно довольная приобретением.

Смешно сказать! Меня волновал прекрасный, как мне казалось, женский профиль, выбитый на крышке патрона. Четкий античный профиль с малюсенькими пластмассовыми кудряшками. И забавлял стаканчик, действовавший в патроне как микроскопический лифт. Он подавал вверх оранжевый столбик помады к толстым морщинистым губам учительницы.

Она это делала с аппетитом. Когда мое и без того немощное внимание совершенно оскучивало и моя кофта, покрытые цыпками руки с обгрызенными ногтями, нос и язык начинали интересоваться меня явно больше, чем клавиатура и нотная грамота, учительница вздыхала, протягивала к окну белую ватную руку и, достав из-за решетки патрон с губной помадой, приступала.

– Ну, навай... навай... – лениво бормотала она, глядя в маленькое зеркальце и священнодействуя над губами – то округляла их бубликом, закрашивая углы рта, то сочленяла, старательно вымазывая верхнюю губу о нижнюю. – Четвертым и пятым пальцами попеременно... Они никуда не годятся... Раз-и, два-и... Считай вслух!

Я ненавидела свои четвертый и пятый пальцы.

Они были не только отвратительны сами по себе – слабые, путающиеся между черными клавишами, они еще были предателями и притворщиками. В обыденной жизни эти пальцы ничем не давали знать о себе, не выпячивались, не лезли не в свое дело.

Стоило же только им завидеть клавиатуру – наглей и противнее четвертого и пятого пальцев на свете ничего не было. Они нажимали не ту ноту, а если и попадали, то слишком слабо. Быстро играть они не могли, а если требовалось, то за компанию прихватывали с собой массу ненужных звуков. Даже если у них не было своего дела в данный момент, они просто нахально торчали в разные стороны, как сломанные велосипедные спицы.

И вообще я прекрасно сознавала, что мне в жизни не подняться до таких высот, как «Элизе». Учительница изредка присаживалась к инструменту и каждый раз играла одно и то же – прекрасную и труднейшую, как мне казалось, пьесу Бетховена «Элизе». Лицо ее в эти моменты выражало лень и спокойствие, она как бы говорила: «Видишь, бестолочь, как можно играть!» И действительно, играла хорошо, хотя было совершенно непонятно, как умещались ее толстые пальцы на клавишах.

Нельзя сказать, что я ненавидела занятия музыкой или не любила учительницу. Мое отношение к этому делу можно было бы назвать чувством обреченности. Так было нужно – заниматься музыкой, как мыть руки перед едой, а ноги перед сном. Уж очень мама хотела этого. К тому же мы успели купить инструмент, а бросить занятия при стоящем в доме инструменте было кощунством. Мне передавался мамин священный ужас перед торчащим без дела инструментом, словно он мог служить укором не только маме, но и мне, и даже когда-нибудь моим детям. Таким образом, моя музыка убивала двух зайцев – оправдывала покупку пианино и, по выражению папы, сокращала мое «арычное» время.

Дом учительницы находился в нескольких трамвайных остановках от нас. А поскольку я из дома выпускалась мамой с космической точностью, то почти всегда попадала на один и

тот же трамвай с веселым кондуктором. То есть он не был веселым, он был как бы веселым. И покрикивал всегда одно и то же:

– А ну, кто храбрее, кто смелее? – и зорко поглядывал на пассажиров. – Кто билетки возьмет?

Пассажиры смеялись и брали билетки. И никто, казалось, никто, кроме самого кондуктора да еще меня, не замечал эту подлую, низкую игру, это издевательство над людьми и презрение к ним. А между тем было совершенно очевидно, что подразумевалось под веселым покрикиванием.

«Это как будто я с вами шучу так, канальи... – подразумевалось. – Но ведь и вы, и я понимаем, что все вы ба-альшие мерзавцы и норовите проехать бесплатно, пока вас не прижмешь».

Подразумевалось еще много другого, чего я выразить и объяснить самой себе не могла, но остро чувствовала.

Вообще в то время я очень остро чувствовала не только всяческую ложь и натянутость в отношениях между людьми, а даже весьма критически относилась к некоторым общепринятым между взрослыми словам. Много меня коробило и приводило в сильнейшее недоумение. Так, например, когда однажды папа, рассердившись на моего дядю, крикнул: «Ноги моей не будет в этом доме!» – я, помню, сильно удивилась и долго размышляла над тем, почему мой честный и в общем-то толковый папа несет такую дикую чушь. Ведь можно сказать просто: «Больше я туда не приду». По этому поводу я представляла почему-то, как папину ногу осторожно и бережно отделяют от него и торжественно несут куда-то, а папа, обнаружив ошибочность маршрута, отчаянно машет руками и кричит: «Нет-нет! Не туда! В этом доме ноги моей больше не будет!»

Маленький, в две комнаты, с застекленной терраской дом, в котором жила учительница с мужем, завершал собой тихий тупичок.

Толкнув изумрудно-зеленую калитку, я попадала во двор, который нес на себе отпечаток некой тайны. Здесь даже в самые знойные дни было прохладно и тенисто. Весь двор поверху перекрывали густо разросшиеся виноградные лозы. Они карабкались по специально врытым для них деревянным кольям, стелились сверху по перекрытиям, свешивая, словно в изнеможении, щедрые райские кисти. Жемчужно-зеленоватые «дамские пальчики»; круглый, лиловый, с прожилками «крымский»; черный «бескосточный»...

Кажется, виноградные лозы забирались даже на крышу и там продолжали свое греховное пиршество с упоительно знойным солнцем.

Вспугнутые ветерком листья о чем-то суетливо лопотали, тщетно пытаясь спрятать редкие солнечные блики. Ослепительные белые блики плясали по рыжему кирпичу дорожки, по моей неприкрытой макушке, по нотной папке.

К деревянным перекрытиям всегда была прислонена грубо сколоченная лестница. На ней неизменно стоял муж моей учительницы – грузный, плохо выбритый пожилой человек в синих бриджах и голубой майке. Он все время возился с виноградом – срезал спелые гроздья, подвязывал лозы. Иногда я видела его на крыше.

Наверное, он и там контролировал тайную виноградную жизнь.

Муж моей учительницы был удивительным субъектом. Он никогда не замечал меня, не отвечал на мои неизменно вежливые приветствия, продолжая свою нескончаемую возню с виноградом. Но когда, отсидев положенную дозу за инструментом, я направлялась к калитке, каждый раз происходило одно и то же.

Муж моей учительницы, почему-то воровато оглянувшись на зарешеченное окно комнаты, молча хватал меня за руку и совал большую виноградную кисть. Лицо при этом ничего не выражало и было скорее сердитым, чем добрым.

Всучив виноградную кисть, он, так же воровато поглядывая на окно, подталкивал меня к калитке, мол: «Иди, иди, знай свое дело».

Пролепетав «спасибо», я выскакивала за калитку и несколько метров мчалась по инерции. Затем тормозила и шла медленно, неторопливо отрывая от кисти и отправляя в рот по ягодке.

Скоро я настолько привыкла к виноградному подношению, что, проходя мимо мужа моей учительницы, чуть-чуть замедляла шаги, опасаясь, что он не успеет схватить меня за руку.

Помнится, довольно длительное время муж учительницы служил мне объектом для размышлений. Мне казалась удивительной пропасть между самим фактом дарения винограда и тем выражением лица, которое сопровождало этот факт дарения. Я размышляла: кто он – злой человек, которого неведомая сила заставляет угощать меня виноградом, или, наоборот, очень добрый человек, которого опять-таки неведомая, на этот случай уже злая сила, нарядив в дурацкие бриджи и майку, заставляет хранить молчание и угрюмость на небритом лице.

Я была довольно занудной ученицей, поэтому весьма извинительно, что время от времени моей учительнице осточертевало возиться со мной.

– Этот такт повторить двадцать раз, – говорила она и выходила из комнаты. Мне казалось, что выходит она в тенистый виноградный дворик для того, чтобы зарядиться спокойным теплом летнего дня, насладиться зрелищем виноградного изобилия и успокоить себя, что занятия с бездарной ученицей дело преходящее.

Я же равнодушно повторяла нужный такт ровно столько, сколько требовалось, при этом блуждая взглядом по стенам, глядя в окно.

И вот так-то однажды я и обнаружила между решеткой и оконной рамой то, чему раньше совершенно не придавала значения. Патроны с губной помадой – красные, блестящие желтые, белые – лежали, казалось, никому не нужные и даже слегка запыленные. Но поразила меня не столько их кажущаяся ненужность – нет, я знала, что учительница тщательно ухаживает за своими губами, – а их количество. Зачем столько помады для одного рта?

Доиграв такт ровно столько, сколько полагалось, я встала из-за пианино и, ощущая некоторое деловое нетерпение, стала осматривать все это богатство.

В какой момент мелькнула у меня мысль о том, что недурно бы иметь хотя бы одну такую вещичку? Каков был ход моих рассуждений? И вообще, знала ли я тогда, что взять чужую вещь – это значит украсть?

Да, конечно, я знала, что не следует брать чужого. Без спроса. Но о каком споре могла идти речь при таком количестве одинаковых губных помад? Ведь их было так много! Чуть ли не семь-восемь... Словом, я выбрала для себя самый, на мой взгляд, скромный – белый патрон – и сунула его в карман платья.

В нашем огромном дворе, кишашем ребятней всех возрастов, мое имущество имело огромный успех. Я и сейчас отлично помню, что провела блестящую коммерческую операцию, выменяв на патрон две Колькины пуговицы. Эти пуговицы – большие, покрытые сверкающей желтой краской – особенно ценились у нас, даже играли роль денег. Имея несколько таких пуговиц, Колька мог даже заполучить на время у Жирного кожаный мяч. Словом, человек, обладающий двумя-тремя такими пуговицами, был в нашем дворе влиятельной личностью.

Гораздо позже, изучая в консерватории политэкономии, главу «Деньги, их происхождение», я поняла, в чем заключалась сила Колькиных пуговиц и почему они у нас выполняли функцию денежных единиц. Ведь их не каждый мог иметь, а уж доставать – только сам Колька, который срезал роскошные пуговицы с материнного пальто. Делал он это время от времени и, по-моему, по той же причине, по которой я брала патрончики с помадой. Пуговиц, на Колькин взгляд, тоже было много. Чуть ли не девять-десять.

В другой раз у учительницы я уже не затруднялась рассуждениями, а просто выбрала патрон покрасивее, считая себя компаньоном по владению этими штучками. Я думаю даже, что рассуждала весьма логично, ведь у учительницы их было все еще много, а у меня только одна.

А в следующий раз я просто решила, что будет справедливо, если красивых тюбиков с губной помадой у нас с учительницей станет поровну. Коричневый пластмассовый патрон проследовал в мой карман.

В это время со двора возвратилась учительница. Я очень спокойно сидела на крутящемся черном табурете, положив руки на клавиатуру. Учительница села на свой стул рядом и помолчала.

– В последнее время, – мягко и лениво, как всегда, проговорила она, – у меня стала пропадать губная помада... Ты не знаешь, кто ее крадет?

Что удержало меня от признания? Страшное слово, которое она употребила для обозначения пропажи и которое никогда не приходило мне в голову применительно к моим действиям? Или нечто другое?.. Моя учительница, говорящая и двигающаяся всегда лениво и мягко, как сытая кошка, и на этот раз была так же мягка и ленива. Но совсем по-другому. Ее мягкость была затаенной готовностью рыси к прыжку.

Но в тот момент я ничего не могла объяснить себе, только чувствовала, что начинает происходить что-то очень тяжелое и неприятное. Это и заставило меня молча мотнуть головой, успокоив себя, правда, тем, что потом я все улажу.

– Не знаешь... А это что? – И она молниеносным, но в то же время очень мягким движением сунула руку в мой карман и вытащила патрон с губной помадой.

Я молчала. Самое интересное заключалось в том, что мне было стыдно не столько потому, что меня уличили в краже, сколько потому, что я врала. Противная, очень противная штука вранье! Все мои мысли в этот момент были заняты не преступностью кражи, а преступностью вранья. Моей же учительнице было наплевать на вранье, она словно и не сомневалась, что так и будет. Ее возмущение было сфокусировано на факте кражи. Вот так мы и сидели несколько минут, не зная, с какого конца подойти друг к другу.

– Это кошмар... воровать! – наконец сказала она. – Куда смотрят твои родители... Ты ведь, наверное, везде воруеть?

– Нет! – простодушно возразила я, удивляясь про себя, что вот далась же ей эта кража, в то время как я ужасно наврала! И так же простодушно добавила: – Я их вам назад принесу, они мне больше не нужны. Заберу у Кольки и принесу...

– У какого Кольки?! – негодуя и брезгливо спросила она.

– С нашего двора. У него отец с одной рукой, – охотно объяснила я.

– Что за чушь! – Она оскорбилась, по-моему, за то, что я никак не хотела проникнуться всем ужасом своего порока.

– Он на фронте был, в танке горел! – сказала я, в свою очередь оскорбляясь за Колькиного отца.

– А раньше тебя никогда не ловили с поличным? – с интересом спросила она.

– Нет! – поспешно ответила я, наивно полагая, что мой ответ разуверит ее в предположениях касательно моего прошлого.

Кроме того, мне активно не понравилось слово «с поличным». Я как будто интуитивно чувствовала, что оно не имеет ко мне никакого отношения, и, наверное, поэтому так поспешила отмежеваться от него.

– В тебе вообще есть много такого... неприятного... – строго и вместе с тем лениво продолжала она. – Я бы даже сказала... авантюрного! Вот, например, я уже несколько раз наблюдала из окна, как ты выпрашиваешь виноград у Петра Матвейча. А это очень, очень некрасиво! Неужели твоя мама не покупает виноград?

– У какого Петра Матвейча? – тупо переспросила я на всякий случай, хотя уже догадалась, что она имеет в виду своего мужа. Но на это оскорбительное обвинение промолчала, удерживаемая, по всей видимости, чисто детской порядочностью и еще каким-то смутным чувством сообщничества с ее мужем.

Через несколько минут ее возмущение и брезгливость сменились озабоченностью моей дальнейшей судьбой.

– Это ужасно... ужасно... – повторила она, пригорюнившись, машинально ковыряя карандашиком между клавишами. Я смиренно сидела рядом, напряженно вытянув спину, уже не веря, что где-то есть пыльные улицы со свободными людьми, что где-то есть наш двор и наша квартира. – Да, ужасно... Что же с тобой будет? Послушай, девочка, а ты не больна?

– Нет! – удивившись, ответила я. – Почему больна?

– Есть такая болезнь – клептомания. Когда человек и рад бы не воровать, да не может. Болезнь, понимаешь?

Нет, я такого не понимала. Болезнь – это дело вполне определенное. Это когда опухают гланды и я не иду в школу. Или когда у мамы бывает сердечный приступ и она вызывает врача, чтобы он дал ей «бюллетень» – синюю бумагу, в которой написано, что мама действительно болела, а не валяла дурака.

– Это очень серьезная болезнь, – продолжала моя учительница, вроде бы даже увлекаясь. – Ею один граф болел. Богатый был, имениями владел, а вот у приятеля нет-нет да что-то стянет. Хоть коробок спичек, а стянет!

Я подумала, что граф был порядочный дурак и что интересно, если человек украдет, скажем, велосипед, даст ли врач ему бюллетень? Ведь если это болезнь?..

Но чем дольше я об этом думала, тем хуже мне становилось. Я со страхом стала прислушиваться к себе – не хочется ли мне еще что-нибудь украсть у моей учительницы? Но красть больше ничего не хотелось, а хотелось только скорей убежать отсюда и никогда больше не возвращаться.

Вскоре пришел следующий ученик, но учительница так увлеклась моим воспитанием, что, не обращая на него внимания, продолжала, то с ужасом раскрывая глаза, то зажимая их, что-то говорить.

Впрочем, я уже не слушала ее. Все больше напрягаясь, уже не на шутку прислушиваясь к своим ощущениям и желаниям, я молча стала собирать ноты в папку.

– Да, так вот, – сказала она, – помада стоила, – она задумалась, – впрочем, я ее почти использовала. В общем, передай маме, чтобы прислала с тобой три рубля. Или нет, я напишу ей записку, а то ты не передашь.

Выйдя на террасу, я тут же развернула записку. Там было написано: «Уважаемая такая-то! Ваша дочь ворует. У меня она украла три шт. губной пом. Прошу возместить три руб. И заняться воспитанием своего реб.»

Свернув вчетверо записку и сунув ее в папку, я медленно пошла к калитке.

Когда я поравнялась с мужем учительницы и он, как всегда, стал совать в мою руку теплую от зноя кисть винограда, я, словно проснувшись, с отвращением оттолкнула его и помчалась по дорожке к калитке.

Тогда я не оглянулась на него. А сейчас, много лет спустя, я думаю: если бы оглянулась, что увидела бы на его лице? Недоумение, досаду? А может быть, боль и тоску бездетности? И еще многое, многое другое?

Нет, конечно, нет. Все это только мое воображение. Скорее всего, он просто рассердился на глупую невоспитанную девчонку.

Свой путь домой я помню до сих пор. Я даже помню, о чем думала. Мне было так плохо, что я даже не плакала. На трамвае я не поехала, а пошла пешком кружным путем, через базарчик, чтобы не так скоро прийти домой. На базарчике я останавливалась перед горками золотисто-оранжевой кураги, черного кишмиша, крупных орехов и с тайным страхом и тоской спрашивала себя: что из этого мне хочется украсть?

Перед деревянной скамьей с аккуратной, нарезанной большими кубами сушеной дыней я стояла так долго, что молодой веселый узбек в черно-белой тюбетейке отрезал ножом кусок

и протянул мне: «Эй, кизимка!» – на что я, в ужасе замотав головой, попятилась и побежала через базарчик.

– Что так долго! – спросила мама, открыв дверь. – Зазанималась?

«Бедная мамочка...» – подумала я, почему-то очень жалея ее.

Мы пообедали без папы, который в тот день задержался на работе, и я стала молча собирать со стола.

Видя, что я иду мыть посуду, мама, как всегда, на всякий случай сказала: «Вымой посуду...» – и я совсем не разозлилась. По-видимому, на мытье посуды у меня ушла львиная доля энергии, потому что я вдруг почувствовала, что больше не могу.

Я зашла в комнату, где мама проверяла ученические контрольные, и как-то очень опущенно, вяло, на выдохе сказала:

– Мам, я воровка...

– Чего-чего? – спросила мама, подняв от тетрадей голову и засмеявшись.

«Бедная мамочка!» – опять подумала я и повторила:

– Я украла губную помаду. Вот, – и положила на стол записку.

По мере того как мама читала записку, лицо ее все больше вытягивалось, и мне становилось все жальче и жальче ее, а заодно и себя тоже.

– Три шт. губной пом., возместить три руб., воспитанием реб., – как-то странно сказала мама. – Чудесно...

Потом в комнате наступила очень тихая тишина, и мне стало так плохо, что я не могла на маму смотреть.

– Отцу будем говорить? – спросила мама. С таким же успехом можно было спросить у преступника, сажать его на электрический стул или, может быть, не надо... С отцом были шутки плохи. Отец и уши мог надрать, чего доброго. Но я пожалала плечами и ничего не сказала.

– Слушай, а зачем тебе эта ерунда была нужна? – недоуменно спросила мама.

– Не знаю... – сдавленно прошептала я и заплакала. Теперь я и в самом деле не знала, зачем мне нужны были те штучки.

– Ну да, – растерянно сказала мама, – понимаю. Я ведь не крашу губы, тебе это было в диковинку...

Беседы о вреде воровства у нас так и не получилось. Кажется, мама все-таки рассказала отцу эту историю, уже не помню, не это главное.

Главным было то, что много лет подряд после этого случая, даже в юности, я продолжала носить в себе страшную тайну своей порочности. И когда при мне кто-нибудь рассказывал, что где-то кого-то обокрали и унесли ценностей на три тысячи, я каждый раз внутренне вздрагивала и думала: «А ведь я тоже... такая...» И боялась, когда меня оставляли одну в чужой квартире хотя бы на минуту. Я боялась, что во мне проснется таинственная графская болезнь.

Такой страшной силы заряд презрения к себе сообщила мне мягкая ленивая женщина, превосходно игравшая изящную пьесу Бетховена «Элизе».

Само собой разумеется, что после этого случая я перестала брать уроки музыки в маленьком доме за зеленой калиткой. Впрочем, для жертвоприношений музыкальному идолу у нас в семье мамой было придумано кое-что иное. Но это уже совсем, совсем другая история.

Терновник

Мальчик любил мать. И она любила его страстно. Но ничего толкового из этой любви не получалось.

Впрочем, с матерью вообще было трудно, и мальчик уже притерпелся к выбоинам и ухабам ее характера. Ею правило настроение, поэтому раз пять на день менялась генеральная линия их жизни.

Менялось все, даже название вещей. Например, мать иногда называла квартиру «квартирой», а иногда звучно и возвышенно – «кооператив»!

«Кооператив» – это ему нравилось, это звучало красиво и спортивно, как «авангард» и «рекорд», жаль только, что обычно такое случалось, когда мать заводилась.

– Зачем ты на обоях рисуешь?! Ты с ума сошел? – кричала она неестественно страдальческим голосом. – Ну скажи: ты человек?! Ты не человек! Я хрючу на этот проклятый кооператив, как последний ишак, сижу ночами над этой долбаной левой работой!!!

Когда мать накалялась, она становилась неуправляемой, и лучше было молчать и слушать нечленораздельные выкрики. А еще лучше было смотреть прямо в ее гневные глаза и вовремя соорудить на физиономии такое же страдальческое выражение.

Мальчик был очень похож на мать. Она натыкалась на это страдальческое выражение, как натыкаются впотьмах на зеркало, и сразу сникала. Скажет только обессиленно: «Станешь ты когда-нибудь человеком, а?» И все в порядке, можно жить дальше.

С матерью было сложно, но интересно. Когда у нее случалось хорошее настроение, они много чего придумывали и о многом болтали. Вообще в голове у матери водилось столько всего потрясающе интересного, что мальчик готов был слушать ее бесконечно.

– Марина, что тебе сегодня снилось? – спрашивал он, едва открыв глаза.

– А ты молока выпьешь?

– Ну выпью, только без пенки.

– Без пенки короткий сон будет, – торговалась она.

– Ладно, давай с этой дрянской пенкой. Ну, рассказывай.

– А про что мне снилось: про пиратские сокровища или как эскимосы на льдине мамонтенка нашли?

– Про сокровища... – выбирал он.

...В те редкие минуты, когда мать бывала веселой, он любил ее до слез. Тогда она не выкрикивала непонятных слов, а вела себя как нормальная девчонка из их группы.

– Давай беситься! – в упоительном восторге предлагал он.

Мать в ответ делала свирепую морду, надвигалась на него с растопыренными пальцами, утробно рыча:

– Га-га! сейчас я буду жмать этого человека!!

Он замирал на миг в сладком ужасе, взвизгивал... И тогда летели по комнате подушки, переворачивались стулья, мать гонялась за ним с ужасными воплями, и в конце концов они валились на тахту, обессиленные от хохота, и он корчился от ее щипков, тычков, щекотания.

Потом она говорила своим голосом:

– Ну, все... Давай наведем порядок. Смотри, не квартира, а черт знает что...

– Давай еще немножко меня пожмаем! – просил он на всякий случай, хотя понимал, что веселью конец, пропало у матери настроение беситься.

Вздыхал и начинал подбирать подушки, поднимать стулья.

Но чаще всего они ругались. Предлогов было – вагон и тележка, выбирай, какой нравится. А уж когда у обоих плохое настроение, тогда особый скандал. Хватала ремень, хлестала, по

чему попадала, – не больно, рука у нее была легкая, – но он орал как резаный. От злости. Ссорились нешуточно: он закрывался в туалете и время от времени выкрикивал оттуда:

- Уйду!! К черту от тебя!
- Давай, давай! – кричала она ему из кухни. – Иди!
- Тебе на меня наплювать! Я найду себе другую женщину!
- Давай ищи... Чего ж ты в туалете заперся?..

... Вот что стояло между ними, как стена, что портило, корежило, отравляло ему жизнь, что отнимало у него мать, – Левая Работа.

Непонятно, откуда она бралась, эта Левая Работа, она подстерегала их, как бандит, из-за угла. Она наскакивала на их жизнь, как одноглазый пират с кривым ножом, и сразу все подчиняла себе. Кромсала этим ножом все планы: зоопарк в воскресенье, чтение «Тома Сойера» по вечерам – все, все гибло, летело к чертям, разбивалось о проклятую Левую Работу. Можно сказать, она была третьим членом их семьи, самым главным, потому что от нее зависело все: поедут ли они в июле на море, купят ли матери пальто на зиму, внесут ли вовремя взнос за квартиру. Мальчик ненавидел Левую Работу и мучительно ревновал к ней мать.

– Ну почему, почему она – Левая? – спрашивал он с ненавистью.

– Вот балда. Потому что правую я делаю весь день на работе, в редакции. Правлю чужие рукописи. Мне за это зарплату платят. А вот сегодня я накатаю рецензию в один журнал, мне за нее отваяют тридцать рублей, и мы купим тебе сапоги и меховую шапку. Зима же скоро...

В такие дни мать до ночи сидела на кухне, стучала на машинке, и бесполезно было пытаться обратить на себя ее внимание – взгляд отсутствующий, глаза воспаленные, и вся она взвинченная и чужая. Молча подогревала ему ужин, говорила отрывистыми командами, раздражалась из-за пустяков.

– Живо! Раздеться, в постель, чтоб тебя не видно и не слышно! У меня срочная левая работа!

– Чтоб она сдохла... – бормотал мальчик.

Он медленно раздевался, забирался под одеяло и смотрел в окно.

За окном стояло старое дерево. Дерево называлось терновник. На нем колючки росли, здоровенные, острые. Пацаны такими колючками по голубям из рогатки стреляют. Мать однажды встала у окна, прижалась лбом к стеклу и сказала мальчику:

– Вот дерево терновник. Очень древнее дерево. Колючки видишь? Это тернии. Из таких колючек люди однажды сплели терновый венок и надели на голову одному человеку.

– За что? – испугался он.

– А непонятно... До сих пор непонятно...

– Больно было? – сочувствуя неизвестной жертве, спросил он.

– Больно, – согласилась она просто.

– Он плакал?

– Нет.

– А-а, – догадался мальчик. – Он был советский партизан...

Мать молча смотрела в окно на старый терновник.

– А как его звали? – спросил он.

Она вздохнула и сказала отчетливо:

– Иисус Христос...

Терновник тянул к самой решетке окна свою скрюченную руку с корявыми пальцами, как тот нищий у магазина, которому они с матерью всегда дают гривенник. Если присмотреться, можно различить в сплетении веток большую корявую букву Я, она как будто шагает по перекладине решетки.

Мальчик лежал, глядел на букву Я и придумывал для нее разные пути-дороги. Правда, у него не получалось так интересно, как у матери. Машинка на кухне то тараторила бойко, то замирала на несколько минут.

Тогда он вставал и выходил на кухню. Мать сидела над машинкой ссутулясь, пристально глядя в заправленный лист. Прядь волос свисала на лоб.

– Ну? – коротко спрашивала она, не глядя на мальчика.

– Я пить хочу.

– Пей и марш в постель!

– А ты скоро ляжешь?

– Нет. Я занята...

– А почему он деньги просит?

– Кто?! – вскрикивала она раздраженно.

– Нищий возле магазина.

– Иди спать! Мне некогда. Потом.

– Разве он не может заработать?

– Ты отстанешь от меня сегодня?! – кричала мать измученным голосом. – Мне завтра передачу на радио сдавать! Марш в постель!

Мальчик молча уходил, ложился.

Но проходила минута-две, и стул на кухне с грохотом отодвигался, в комнату вбегала мать и отрывисто, нервно бросала:

– Не может заработать! Понимаешь?! Бывает так. Сил нет у человека. Нет сил ни заработать, ни жить на свете. Может, горе было большое, война, может, еще что... Спился! Сломался... Нет сил...

– А у тебя есть силы? – обеспокоенно спрашивал он.

– Здрасьте, сравнил! – возмущалась она и убежала на кухню – стучать-выстукивать проклятую Левую Работу.

У матери силы были, очень много было сил. И вообще мальчик считал, что они живут богато. Сначала, когда ушли от отца, они жили у материной подруги тети Тамары. Там было хорошо, но мать однажды поругалась с дядей Сережей из-за какого-то Сталина. Мальчик думал сначала, что Сталин – это Маринин знакомый, который ей здорово насолил. Но оказалось – нет, она его в глаза не видела. Тогда зачем из-за незнакомого человека ссориться с друзьями! Мать как-то и ему принялась рассказывать про Сталина, но он пропустил мимо ушей – скучная оказалась история.

...Так вот, мать подумала, решила, и они «влезли в кооператив».

Мальчик придумывал грандиозное зрелище: вот он ждет их на взлетной полосе, сверкающий, узкий и легкий, как птица, – кооператив! Вот они с матерью – в комбинезонах, со шлемами в руках – шагают к нему через поле. И вот уже люк откинут, они машут толпе внизу, застегивают шлемы и наконец влезают в новейшей модели сверхзвуковой кооператив!

На самом деле все происходило не так. Мать продала много чего ненужного – желтенькую цепочку, которую прежде даже на ночь не снимала с шеи, серьги из ушей с блестящими стеклышками, кольцо. Потом стояла у окна на кухне и плакала весь вечер, потому что и цепочка, и серьги, и кольцо были бабушкиными и остались от нее на память. Мальчик крутился возле матери, ему передалось ее тоскливое ощущение потери, и было жалко мать, которая так горько плачет из-за пустяковых вещиц, и он решительно не понимал, что происходит.

Но скоро они переехали в новую квартиру, и мать повеселела. Квартира оказалась роскошной: комната, кухня и туалет с душем. Был еще маленький коридорчик, в котором они в первый же день повесили подаренное тетей Тамарой зеркало. Комната пустая, веселая – вози грузовик в какую хочешь сторону, от стенки до стенки, и не скучай. Первое время они спали

вдвоем на раскладушке. Обнимались тесно, становилось тепло, и мать перед сном рассказывала длинную историю, каждый вечер новую. И как только они умещались в ее голове!

А однажды он пришел из детского сада и увидел в комнате новую красную тахту. Мать засмеялась, потащила его, повалила на тахту и стала тискать и щипать.

– Ну как? – спросила она гордо. – Шикарно? – и подпрыгнула на упругой тахте.

– Шикарно, – согласился он и тоже попрыгал немного.

– Человеку в твоём возрасте вредно спать на раскладушке, – пояснила мать, – будешь сутулым, как старый старикашка... У меня это прямо из головы всю неделю не выходило. А сегодня утром, как отвела тебя в сад, думаю – да черт возьми! Руки есть, башка варит, что я – не отработаю? Пошла и заняла деньги у тети Тамары...

– Левую Работу возьмешь? – расстроился он.

– Ага, – беспечно сказала мать и опять стала прыгать на тахте и тискать мальчика...

Часто в гости забегала тетя Тамара. К ней на работу постоянная спекулянтка приносила всякие вещи – то джемпер японский, то финское платье. И тетя Тамара забегала на минутку – приносила «померить». Она очень переживала, что мать «все с себя сняла» и «совершенно не одета». Ну это, конечно, была ерунда. Интересно, как бы мать ходила на работу, если б была совершенно не одета. Она носила черный свитер, который очень нравился мальчику, и серые от стирки джинсы. Просто она привязалась душой к этим любимым вещам, ей не нравились другие. А недавно тетя Тамара принесла серьги, ведь мать продала свои, и та волновалась, что дырочки в ушах зарастут и будет «все кончено». Серьги оказались красивыми, с нежно-зелеными камушками. Мать усмехнулась, надела их, и сразу стало видно, какая она хорошенькая, – глаза такие же, как серьги, зеленые и длинные.

– Вот и покупай! – решительно сказала тетя Тамара. – Очень тебе идут. Просто чудо как красиво.

– Ой, Марина! – ахнул мальчик. – Какие красивые!

– Красивые! – согласилась мать, снимая серьги. – На той неделе взнос за кооператив...

Тетя Тамара бодрая и решительная. Она очень помогает жить матери и мальчику – вселяет уверенность в то, что все будет прекрасно.

– Личная жизнь не удалась – подумаешь! – говорит она. – Те, у кого она удалась, ходят в стоптанных туфлях и с высунутыми языками...

Отца он тоже любил, но боялся, что мать заметит это. И вообще, когда заходил разговор об отце, он помалкивал, зная взрывной материн характер. С отцом-то было легко, спокойно. Отец никогда не орал, и всегда можно было предположить, как он отнесется к тому или другому происшествию. Отец был во всем другой.

Наверное, он сильно удивился бы, узнав, что мальчик наблюдает за ним и сопоставляет его мир с тем миром, где существовали они с матерью.

Отец забирал его в субботу днем и приводил к себе домой, в ту квартиру, где прежде жили они втроем и где осталось все, что раньше было общим. Остался и трехколесный велосипед мальчика, и санки, и самокат. Довольно долго он размышлял, отчего отец не отдал даже его велосипеда. Но спросить не решался. Вернее, просто знал, что ответит отец. Тот бы улыбнулся, и поцеловал его, и сказал:

– Просто я хотел, чтобы твои игрушки были здесь, чтоб ты знал – здесь твой дом.

Как-то он уже говорил что-то подобное.

Нет, дом был там, где была мать. Это мальчик чувствовал очень остро. Даже когда не существовало вообще никакого дома и они ютились у тети Тамары с дядей Сережей, его дом был там, где находилась она – ее голос, ее запах, ее черный свитер, ее жестикуляция и выкрики.

Даже себе он не признавался в том, что любит бывать у отца отчасти из-за подарков. Отец дарил подарки веселые, интересные и этим выгодно отличался от матери. То пистолет подарит с целой обоймой оглушительных патронов, то железный танк с вращающимся стволом орудия.

И делал это отец без шума, со снисходительной улыбкой и никогда не устраивал тарарама, если вдруг через час орудие танка отваливалось или пистолет переставал почему-то действовать.

Да, отец дарил веселые подарки... Мать – скучные. Сапоги какие-нибудь на зиму, или куртку с капюшоном, или костюм. И сама ужасно радовалась этим подаркам, заставляла его надевать их, ходить перед ней по комнате и сто раз поворачиваться. Мальчику это надоедало. Он скучал, недоумевал, спрашивал:

– Ну все, что ли?

– Ну походи еще! – сияя счастливыми глазами, командовала мать. – Пройди медленно вон туда, к шкафу, и повернись ко мне. Так. Теперь спиной...

Он томился в теплой зимней куртке, но послушно топтался, как она требовала, – от шкафа к тахте и обратно. В такие минуты он почему-то очень жалел ее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.